Русский идиш

Ах, Дора-Дора... Бабка приходила
К тебе стирать и вычистить ножи.
Что за кривая, дьявольская сила
Меня за ней тащила, подскажи?

Ах, Дора-Дора... Зяма Моисеич...
Три шкафа книг, корица в порошке.
Я скоро научилась: «Шпрехен дейич» —
И Зяма гладил по льняной башке.

Ах, Зяма-Зяма... «Детка, алеф, гимель.
Вот это — бейз... ну, хватит на сейчас.
Я там тебе на кухне грушу вымыл,
Ты с семечкой не ешь, как в прошлый раз».

Стекло чекушки пело на иврите,
На идише шуршал в углу мизгирь.
«Вы, Дора Афанасьевна, скажите,
Чтоб муж-то Верке не дурил мозги:

Вам яблоки, а нам-то хватит брюквы...
Халат стирать? Запачкалась тесьма...»
Но как похоже вспыхивали буквы
Еврейского и русского письма,

Когда сливались в строки и абзацы
О бухенвальдском пепле и золе,
И о пожарах, что ночами снятся
Бревенчатой березовой земле.

Ах, Дора-Дора, что ты в книге видишь?
Ах, Зяма-Зяма, в чем ты видишь свет?
...а Васька-вор орал почти на идиш
Про хипес и вонючий марафет.

Такие на Калухе жили воры,
Что не приснятся в самом страшном сне...
Ах, Зяма-Зяма, схоронил ты Дору:
В Россию закопали по весне.

Мне было восемнадцать. Нынче сорок.
Нерусской не бывала я ни дня,
Но помню: алеф, гимель — будто морок,
И буквам догорать — внутри меня.

Я помню все: умерших и убитых,
Мозоли на руках и снег виска,
И все глядит из крашеных калиток
Глазастая еврейская тоска...

Не оставь

В этом теле — минимум три души, и у каждой больше семи путей. Первой прямо в руки плывут ерши: хороша уха для ее детей. Ей с работы мужа-губана ждать, греть ведерный чайник — с вареньем пей, и горбатых ландышей-жеребят запрягать в тележку неспешных дней. На святую Пасху рядиться в шелк, красоваться — в ушках блестит рыжье. Если вдруг заявится серый волк — за беленой печкой лежит ружье. У второй — в шатре конопля и плов, а ее слова — золотой шербет. За нее Иаков служить готов восемь раз по восемь пастушьих лет. Запоет псалмы — и заплачет полк: рядовые — Сим, и Яфет, и Хам. Ей не страшен даже тамбовский волк — слушать песни ляжет к ее ногам.
А у третьей — кинь, и выходит клин, вместо крыш и лавок — одни горбы. Ей в ладони плачет пяток рябин и дубок у крайней кривой избы: за живых и тех, кто уже ушел, за Васятку — мать заспала мальца, за Степана с заворотом кишок, за Никиту — он заменил отца. Все бы славно, если б не три по сто, а потом пивка, а потом базлать. Третьей слышать: «нету для вас местов», «убирайся», «дурочка», «не со зла»... Третьей — с детства спать на краю крутом: у дощатой стенки сопит сестра. Серый волк-волчок залезает в дом, под лунищей шкура его пестра. Это сон, а может, лихая явь: подойдет и сцапает за бочок...
Ты вот эту девочку — не оставь. Ей не выжить, если придет волчок.

Почтальонка Бронька

Сказки слаще давней были, только сказки — не о том... Почтальонку не любили в сорок первом и втором. «Похоронны, знать, у Броньки — ох, пропали мужики...» Их не звали «похоронки» — слишком были велики. Брали бабы желтый листик, кто молчал, а кто базлал. Кулаками била Христя Броньку с горя — не со зла.
Где порвется, там и тонко. Глядь — в ладони пустота. В сорок третьем почтальонка померла от живота. «Тань, пошарься за иконой... подоконник-то в пыли...» Восемь рваных похоронных под окутками нашли. Шапку снял Семенко Белый: «Ох ты, Бронька, е-мое. То ль себя она жалела, то ли глупое бабье».

Все б ничо, да дура Олька — погрешили на вино — утром баяла в поселке: Броньку видела в окно. Сумка сбоку — та, казенна, гребнем месяц молодой, восемь рваных похоронных вместо крыльев за спиной. «Не бывать такому делу». «Не мути, знатка, народ». Только Христя заревела первый раз за целый год. Только видят все же Броню в огородах, в камышах: восемь рваных похоронных за лопатками шуршат. С каждым годом крылья шире, суше, сгорбленней спина...
Ей ходить, покуда в мире не закончится война.

Иван Долгорукий

На Москве — пироги да баньки,
Да вороний хрипатый крик.
Камергер Долгорукий Ванька
Поправляет крутой парик.
«Чо, куда подадимся ноне?
Ваш-величество, слышишь, ась?
Девок мять?» — и рванули кони,
Вороная лихая масть.
В баньке кушает блин скоромный
Редкозубый седой кощей...
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я!
Мне — сисясту, ему — тощей».

На Москве — от свечного воска
В старой церкви лоснится пол.
«У царя-то, гутарят, воспа».
«Брешешь — немец его извел».
Вынимает кощей просвирку,
Ест глазами святой покров...
У Ивана — в ботфорте дырка,
У царя — на перине шов.
Бьется в жилочке подъяремной
Кровь Романовых — ох, горька...
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я —
Холодеет его рука».

На Москве — галуны-награды,
Драный зад и худой доход.
Выше влезешь — больнее падать
Мордой в клюкву сырых болот.
Ох, Березов — промерзлы стены,
Тишь могильная, синева.
Злой кощей не сбавляет цену,
Хороши у него дрова.
«Сколь я выпил вчерась? Не помню...
Блазнит что-то: Москва, поля...»

«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я!
В кабаке пировали, бля...»

На Москве — армячишко новый
Снял с купца полунощный люд.
«Слышь, помалкивай. Скажешь слово —
Сразу дело тебе пришьют».
Кнут наладил кощей гугнявый,
Тянет лапы к Ивану, в глушь:
Умирать — есть такое право
На Москве — на Руси, Ванюш.
На дороге навоза комья,
Площадей не видать во мгле.
«Где ты, Ванечка?»
«Со царем я.
Во московской сырой земле...»

Вороны

На Вороньже каркали, как черти,
Вороны у свалок и бадей...
Пары у ворон — до самой смерти,
Что большая редкость у людей.
Малолетка, я совалась шилом —
Не вопросы, мина да патрон —
Негулящей брякнула Людмиле:
«Почему живете вы с Петром?
Он хромой... а вам чертежник Вадя
Клялся ноги мыть, стирать белье».
«Где едят, Веруша, там не гадят...
Знать, к дождю базлает воронье».
Эх, Вороньжа, роты золотые,
Танцы-обжиманцы на заре:
Каркали вороны при Батые,
При Иване Грозном и Петре,
Приходили с ночевами дяди,
Брякали в оконное стекло...
«Где едят, Веруша, там не гадят».
Притаилось. Жило. Проросло.
Да, старею — ближе все, что было,
Вспоминаю чаще — есть о ком...
Через годы машет мне Людмила
Петиным подаренным платком.
Где топор, что срубит эти корни?
Глянь — вороны роются в золе...
Слышь, не надо гадить, где накормят —
В доме. На Вороньже. На Земле.

...на Вороньже каркали, как черти,
Вороны у свалок и бадей.
Пары у ворон — до самой смерти,
Что большая редкость у людей.

Живая земля

Эх, Вороньжа, Бараба, Калуха,
Теплые густые вечера...
Рыжий мяч в кривую стенку бухал
Под ребячьи крики: «Чур-чура!»

Разбивались локти и колени,
И носы, бывало («эй, дебил...»),
А сосед, плешивый дедо Веня,
На колоде палец отрубил.

Захайлал: «Холерская скотина,
Порубил помельче на беду!
Вот и ешь теперь таку свинину!
Нинка, лярва, — унимай руду!»

Из-за Гульки, сметчицы-заразы,
Титьки — во, в кастрюльки положи,
Леля мой, Сашура черноглазый,
С Радиком схватились за ножи.

Стала пыль Калухи мокрой, алой,
С криком заметалось воронье...
Все одно — к татарину сбежала,
Кровь зовет в родимое, в свое,

И уходит — в землю у рябины,
У кривой бревенчатой стены...
Оттого так ярки георгины
Всех Калух моей большой страны.

В колеях Вороньжи и Калухи —
Гвозди из Господнего креста,
Ножики, прихваченные с кухонь,
Мячики и листики с куста,

И ключи разбросаны от рая —
Знать бы только точно, где какой...
Если землю кровью поливают —
То земля становится живой.

В полный рост

В полный рост — это очень по-русски, —
Засмеялся мужик холостой,
И грудастая дура Маруська
Полоротой застыла верстой.

В полный рост — часовые да рынды,
Не зевай, обломают бока...
Дай я спрячусь Маруськой-дурындой
Под полой твоего пиджака?

Сколь ни прятаться, сколько ни виться,
Ни пылить по российской земле,
В полный рост — по траве и пшенице,
В полный рост — и в гробу, и в петле.

Возле паперти пьяница Яков,
Как всегда, собирает лавэ...
В старой церковке возле бараков
Помолюсь о твоей голове,

Вспомню наши неловкие встречи,
Нашу нежность, и слезы, и смех,
А церковные тихие свечи
В полный рост догорают за всех.

Я, Маруська, родной, не мессия.
Но судьбы не сменить, хоть убей:
В полный рост мне идти — по России,
И по краешку жизни твоей...